

© 1996 г.

## ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ ("круглый стол")

**Ю.Н. Давыдов:** Мы, конечно, не хотели бы, чтобы сказанное здесь было понято так, будто социология XIX века, не случайно получившая название классической, вообще не имеет никакого отношения к науке. Нет, она вполне научна. Но ее научность далеко не так абсолютна, чтобы давать ей право третировать все предшествующее ей социологическое знание как "до-", а то и вовсе "ненаучное". Ее научность столь же относительна, сколь относительна и научность всех иных разновидностей социальной теории, получивших свое научное достоинство от соответствующих типов науки, в культурно-исторических рамках которых они возникали, развивались и, наконец, исчерпывали свой научный потенциал, разделяя судьбу соответствующей формы "научности". А претензии этой типологической разновидности социально-научного знания на ее "единственность" и "абсолютность" представляли собой именно утопию, в которой едва ли не более, чем в иных особенностях социологии прошлого века проявилась ее историческая релятивность: зависимость от просветительского устроения эпохи, погрузившейся в Лету.

Позаимствовав свои важнейшие теоретико-методологические установки, определившие ее мыслительный горизонт, то есть, кроме всего прочего, очертившие пределы исследовательской мысли, у классического естествознания XVII-XVIII веков, классическая социология прошлого столетия достигла многого в смысле как внутренней, так и внешней "институционализации" социально-научного знания. Именно ей мы обязаны резкой, полемически заостренной постановкой вопроса, который не был тематизирован специально в рамках иных типов социально-научного знания, но который теснейшим образом связан с тем, что мы сейчас обсуждаем. Это был вопрос о решительном разграничении (как мы нынче убеждаемся, к сожалению, гораздо более решительном, чем следовало бы) тогдашней социологической науки и социально ориентированного знания вообще, которое и является предметом истории социальной мысли. Иначе говоря, вопрос о демаркации знания, полученного в горизонте парадигмы (вернее, "метaparадигмы") классической формы "научности", с одной стороны, и знания, полученного в рамках иных - вненаучных - форм сознания: философского и нравственно-религиозного, политико-правового и "практически-художественного" - с другой.

И хотя на пути такого рода "размежеваний", в форме которых и происходило самоутверждение социальной науки в прошлом веке, достигнуты серьезные теоретические результаты, каковые рассматриваются сегодня как общесоциологическое достояние, - многие из этих несомненных достижений оплачены высокой ценой столь же очевидных утрат, предопределенных границами той "метaparадигмы научности", каковая обусловила своеобразие "социально-научного" видения реальности в прошлом веке. Однако со временем становилось все более очевидным, что баланс приобретений и утрат, достигнутый с помощью этого способа видения, неодинаков во всех случаях. Если в случае видения настоящего он был, в общем, скорее положительным, то в случае видения прошлого, а особенно ("светлого") будущего его нельзя не оценить как скорее отрицательный.

Главной виновницей такого рода дисбаланса оказалась, в конечном счете, идея Прогресса, вернее, идеологема Прогресса, ибо речь шла об идеологизации общенаучного принципа эволюционизма, операционализируемого в рамках самоутверждавшейся науки об обществе. Именно этой идеологеме социология прошлого века обязана своим модернизмом (не в специфически искусствоведческом, а в общетеоретическом смысле слова), то есть

некритической апологетикой нового как такового: именно потому, что оно "отменяет" старое, обеспечивая таким образом "поступательность" социально-исторического развития. Отсюда тем большая склонность к дискредитации "предыстории" социологии, которая представлялась утрачивающей научный интерес хотя бы уже потому, что была обращена к "исчерпавшему себя" прошлому. Но ведь рано или поздно и сама эта социология должна стать "прошлым"...

И вот тут-то и возникал вопрос, заглушённый громогласными притязаниями социологии прошлого века на свою уникальность, каковую сами же ее "отцы-основатели" связывали именно с научностью, будучи убежденными в том, что существует лишь единственный тип научного знания (который так убедительно явило миру естествознание Нового времени, и основополагающие принципы которого были "распространены", наконец, на понимание общества, обеспечив обществу тот же научный статус, какой уже прочно обеспечили себе науки о природе). А можно ли считать это убеждение таким уж неоспоримым? И нельзя ли допустить возможность, по крайней мере, двух различных типов научности? Особенно, после того, как сами же естествоиспытатели стали говорить о двух одинаково научных типах естествознания - "классическом" и "неклассическом".

Ну а поскольку "двоица", согласно пифагорейцам, это уже начало "множества", то нельзя ли поставить тот же вопрос в более общем виде, говоря о принципиально возможном существовании различных типов "научности" и не уточняя при этом их число? И если можно, то нельзя ли поставить вопрос о существовании таких и в истории теоретической социологии? Причем не только для различия двух типов социологического знания, один из которых доминировал в прошлом, а другой упорно пробивал себе дорогу в нынешнем веке, но и для того чтобы идентифицировать разные типы социально-научного знания, сосуществовавшие друг с другом или сменявшие друг друга до Нового времени. Ведь пытаются же делать нечто аналогичное (и не без успеха) нынешние науковеды, работающие в области истории естествознания.

Правда, чтобы встать на этот путь, нынешним историкам теоретической социологии пришлось бы распрощаться с одним "дорогим предрассудком", который до сих пор весьма существенным (если не радикальным) образом замыкает их исторический и, как оказывается, также научный горизонт. Речь идет об автоматически работающей в "теоретическом бессознательном" многих наших социологов разделении всей истории общественной эволюции на две - поразительно неравные! - части. Речь идет о дихотомии "традиционного/современного" обществ, в рамках которой "традиционное" обнаруживает тенденцию все дальше и дальше ускользать в седую древность, тогда как "современное" остается более или менее прочно привязанным к "Новому" и "Новейшему" времени.

Впрочем, и "седая древность" не окажется такой уж древней и седой, если мы припомним историю (к счастью, недавнюю) теоретической концептуализации этого разделения общественной эволюции на "традиционную" и "современную" ее стадии, или, если хотите, "отрезки", "куски", "отрывки" и т.д. А началась она со все того же - просветительски-идеологического, то есть в высшей степени тенденциозного разделения "завершающей фазы" общечеловеческой эволюции на два этапа: "темное", "мрачное" и т.д. средневековье, с одной стороны, и занимающаяся "заря Просвещения" - с другой. Довольно скоро, поскольку приближалась "Великая Французская" междоусобная резня, в пределах этой дихотомии произошли видоизменения, в силу которых оба ее полюса получили сперва также и политическое, а затем и вовсе социологизированное звучание. Особенно трансформация затронула первый ее полюс, где на месте "темного средневековья" оказался "феодализм", звучавший поначалу как чисто политическая квалификация (обобщенный образ "врага народа"), и только впоследствии. - у К. Маркса, следовавшего здесь за Кондорсе, французскими историками времен Реставрации, а, главное, Сен-Симоном, - превращенный в обозначение "общественной формации".

Однако эта предыстория дихотомии "традиционного/современного" обществ достаточно выразительно свидетельствует о том, что, апеллируя к ней, современная история социологии лишь по-видимости размыкает свой исследовательский горизонт. Он лишь становится менее определенным (расширяя пространство для сделок с теоретической совестью историка социологии), не становясь от этого прозрачным и открывающим "даль веков". А вместе с нею сохраняется и тот не вполне осознанный, а потому "тайный" ход, по

которому в наше нынешнее "понимание" истории теоретической социологии проникает догматическое противоположение "современной", то есть научной (в контовски-марксовом смысле слова) социологии, "до-" или вовсе "ненаучной" социальной мысли, в какой она была, якобы, полностью растворена до Конта. Причем растворена настолько, что тенденции, ведущие навстречу грядущей "подлинно научной" социологии XIX-XX веков, могли быть отмечены, а, вернее, "спроецированы", лишь задним числом. Так что, не будь этого "заднего числа", было бы просто невозможно даже поставить вопрос о самом факте существования подобных "тенденций".

В свете такого рода "научной революции", которую произвели в области общественно-знания, согласно позитивистам, Конт, а по убеждению марксистов, разумеется, Маркс, можно заключить, что ни первый из них, ни второй не были так уж бескорыстны, когда приуменьшали возраст их "крестницы". Ведь только таким образом каждый из крестных отцов "подлинной науки об обществе" мог безбоязненно присваивать не столь уж скудное наследие этой явно великовозрастной девицы, попутно обесценивая то, что присвоить не удалось, с помощью таких "квалификаций" как: "мифологизм", "религиозный обскурантизм" или "утопизм" и т.п. Причем едва ли не все они находились в зависимости от просветительского сознания, которое, возникнув как форма идеологизации естествознания XVII—XVIII веков, определило своеобразие того типа социально-научного знания, какой сформировался в XIX столетии прежде всего благодаря усилиям Конта и Маркса. Если же взглянуть на просветительски-разоблачительскую тенденцию социальной науки прошлого века не с индивидуально-психологической, а с социологической точки зрения, то ее можно будет рассматривать также и как своего рода "издержки" процесса запоздалой профессионализации, специализации и, соответственно, функционализации и "практической утилизации" социально-научного знания, вынужденного "догонять" естествознание, значительно опередившее его в этом отношении. Такая вот институционально закрепляемая профессионализация и специализация знания, представляющая собой характерную, бросающуюся в глаза черту его "производства и воспроизводства" в Новое время, и рассматривается людьми этой эпохи как атрибутивная характеристика науки и "научности" как таковой. А поскольку социальное знание вплоть до Нового времени не обнаруживало еще тенденции отмежеваться от естествознания, выделившись в профессионально обособленную сферу, постольку это давало и лишний повод историкам социологии отказать ему в научности. И потому они обнаруживали тем меньше склонности задаться вопросом о том, нельзя ли говорить о научности социального знания, коль скоро оно формируется и функционирует не "на дистанции" от естествознания, скажем, античного или - даже! - средневекового (в собственно научных достоинствах которого у нас сегодня все меньше оснований сомневаться), а, так сказать, в его составе, под общей с ним философской "крышей"? Тем более что ведь и социальное знание Нового времени добилось признания своего научного статуса (причем уже не по его институциональной "форме", а именно по теоретико-методологическому содержанию, по "сути дела"), как раз потому, что устроилось под одной "крышей" с ним, усвоив и его общее мировоззрение, и его методологию научного исследования.

Правда, в последнем случае может сбить с толку то обстоятельство, что общественное знание Нового времени конституировалось как научное в ходе противоречивого - двуединого - процесса. Ведь под лозунгом "единства науки", апеллируя к которому обществоведы распространяли мировоззрение и методологию естественных наук на область знания о социальной жизни, происходил одновременно и едва ли не самый крупный социальный раскол науки: все дальше заходившее обособление общественно-знания от естествознания, исследования "внешней природы" от исследования природы "внутренней" - "общественного человека" и его культуры. Раскол, нашедший свое собственно теоретическое продолжение в различных вариантах учения о "базисе и надстройке", со свойственными ему антиномиями и бесконечными "эпизодами", свидетельствовавшими об их неразрешимости. А потому уверенность в научности социологии прошлого и нынешнего столетий неизменно сопровождалась и сопровождается колебаниями социологов между методологией, ориентирующей исследование на постижение специфики общества, весьма существенно отличающей его от предмета естествознания, с одной стороны, и методологией, отражающей общенаучные требования, стандарты и ценности, - с другой. Колебания, порождающие кризисные явления в социологической науке.

Если мы отдадим себе ясный отчет относительно социально-исторического своеобразия, какое приобрела наука вообще в XVII-XIX веках, - своеобразия, предопределившего и судьбу социально-научного знания в "классический" период его эволюции, - то у нас, быть может, мало-помалу отпадает и охота противопоставлять - на типично просветительский манер - его "подлинную научность" весьма сомнительной "мифологичности" и "мистицизму", "утопичности" и "обскурантизму" социологического знания предыдущих эпох, погрязавшего, якобы, в ненаучной темноте и невежестве. (И это вопреки общепризнанным завоеваниям в области логики и математики, астрономии и учении о государстве, правоведении и других достаточно строго очерченных "дисциплинах".) И лишь после этого можно будет с большей ясностью и отчетливостью сформулировать тот вопрос, который мы в явно предварительном, так сказать "поисковом" порядке решили обсудить сегодня. Ибо, как мне кажется, проблема со- и взаимоотношений истории социальной мысли, с одной стороны, и истории теоретической социологии (как особой и - в некоторых существенно важных аспектах - относительно самостоятельной области социально-научного знания) - с другой, упирается в конце концов в проблематику соотношения собственно научных элементов социально-гуманитарного знания с теми, что не поддаются рационально-научной артикуляции и черпают свое мыслительное содержание из "вне-", "мета-", "прото-" или "околонаучных" источников.

Во избежание возможных здесь недоразумений хотелось бы сразу же оговорить следующее. Ни "вне-", ни "прото-", ни "околонаучность" не употребляются здесь в оценочном смысле, который в применении к данному случаю основывался бы на некотором постулате (опять-таки восходящем к просветительскому способу мышления), согласно которому то, что "научно", уже и "хорошо", а то, что отклоняется от "научности", "плохо" уже само по себе - как в воспитательной "агитке" В. Маяковского. Импульсы, идущие из "вне-", "прото-" или "околонаучной" сферы, могут иметь в высшей степени эвристичный характер, подталкивая ученых к весьма значительным открытиям. Ведь они идут из сферы, составляющей в целом ту "плазму", в которой только и может жить наука, как бы она ни стремилась дистанцироваться от всего, не имеющего к ней прямого отношения и не переводимого на ее "птичий" язык. Отсюда - изначальная "амбивалентность" ситуации любой научной дисциплины: невозможность существовать вне этой всепроникающей "витальной плазмы" и - в то же самое время - необходимость постоянно "дистанцироваться" от нее, тщательно охраняя свои - внутренние - границы.

Так вот, если говорить об истории социальной мысли, то она рассматривает свой предмет, не акцентируя специально различие между вне- и внутринаучными импульсами, вызывающими его эволюцию, определяя своеобразие отдельных фаз, периодов или эпох. Между тем как история социологии, в особенности же, теоретической социологии, расположенной прямо под ее крышей (а отчасти и образующей эту "крышу", которая, как говорится, может ненароком и "поехать": тогда-то и возникают "большие", общесоциологические кризисы этой дисциплины), озабочена прежде всего другим. А именно - внутренней организацией содержания той же самой "социальной мысли", которое структурируется "дисциплинарно" - в соответствии с идеей научности (или, иначе, теоретической строгости, доказательности, достоверности и т.д.) знания об обществе. А знание, как известно, изначально находилось в напряженных, "полемиических" отношениях с мнением - "мнимым", или неистинным, знанием. Причем "третейским судьей" в споре между действительным знанием и мнением, то есть тем, что "мнится" именно мне (впоследствии это будут называть "субъективной достоверностью"), уже на заре научной эволюции считалось строго определенное понятие.

Согласно М. Веберу, еще во времена Платона "впервые был открыт для сознания смысл одного из величайших средств всякого научного познания - понятия. Во всем своем значении оно было открыто Сократом. И не одним им. В Индии обнаруживаются начатки логики, похожие на ту логику, какая была у Аристотеля. Но нигде нет осознания значения этого открытия, кроме как в Греции. Здесь, видимо, впервые в руках людей оказалось средство, с помощью которого можно заключить человека в логические тиски, откуда для него нет выхода пока он не признает: или он ничего не знает, или это - именно вот это, и ничто иное, - есть истина..." (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 716). И хотя то, что в рамках античной социокультурной формы "научности" (в которую органически вписывались и платоновское "Государство" и аристотелевская "Политика") принималось за

"вечную, непреходящую" истину, обнаружило впоследствии свою историческую релятивность, - и в этом отношении она ничем не отличалась от других типов науки, включая и тот, что господствовал на протяжении XVII-XIX столетий, - в ее рамках было сделано немало открытий, которые сохранились далее в качестве общенаучных достижений, каковые не суждено было "перекрыть" на путях последующего "научного прогресса".

А не было суждено по той причине, что и сам этот Прогресс оказался, на поверку, не таким уж и прогрессивным, то есть однолинейно направленным "только вперед" и лишь "все выше и выше". Уже не говоря о том, что в его "модернистских" новациях все труднее было уловить какую-то "цель", или общую "объективную тенденцию", пробивающую себе дорогу сквозь "все века" человеческого существования, он явно обнаруживал еще одну совсем не прогрессивную тенденцию. Тенденцию своего рода "циклизма", которая, в отличие от "диалектически-прогрессивной" спирали, каждое звено которой "в конечном счете" выворачивалось "вперед", скорее обнаруживала стремление вернуться назад - "на круги своя", с тем, чтобы затем "начать все сначала", ища другой путь, пролегающий "в стороне" от всех уже опробованных. Вот тут-то и обнаруживается непреходящий смысл того, что было достигнуто "на иных путях": его вечность гарантируется не ("дурной", как полагали и Гегель, и Достоевский) "бесконечностью" повторений, а, наоборот, неповторимостью случившегося однажды, которое потому и невозможно "превзойти" или "снять в высшем синтезе".

Однако такое видение культурно-исторической эволюции человечества заставляет несколько иначе взглянуть и на соотношение истории социально-научного знания, с одной стороны, и истории социальной мысли - с другой. Местом их в высшей степени продуктивной встречи, где едва ли не выразительнее всего обнаруживается необходимость друг другу, следует считать пункт перехода от одного культурно-исторического типа социально-научного знания к другому. Ибо здесь перестает "работать" логика имманентного развития знания на основе той или иной внутринаучной парадигмы, чья система координат позволяла бы с большей или меньшей достоверностью и доказательностью определить вклад в научный прогресс ученых, разделяющих эту парадигму и работающих в ее "русле". Ведь уже согласно Т. Куну, которому современное науковедение и связанная с ним история науки стольким обязаны, полагал, что переход от одной парадигмы к другой - даже внутри соответствующей дисциплины, в ее институционально-теоретических рамках - уже не подчиняется законам развития "нормальной науки". Не случайно как раз в этом пункте он начинает говорить о "революционном скачке", "переключении гештальта" и т.д., проводя далеко (очень далеко!) ведущую аналогию между "сменой парадигмы" и "революционной ломкой" "устаревших" общественных институтов.

И как бы мы ни относились ко всем этим аналогиям и метафорам, на которых лежит неизгладимая печать "новой левой" революции 1960-х годов, углублявшейся на Западе, чтобы разрешиться в студенческих и расовых "бунтах" рубежа 1960-1970-х, совершенно очевиден сам историко-культурный факт существования таких "межпарадигмальных" состояний, наступающих в тот момент, когда внутринаучная логика перестает "работать". А что же говорить тогда о периодах перехода от одного типа науки к другому, когда "исчерпывает" свой потенциал не та или иная внутринаучная парадигма, а "парадигма", в соответствии с которой определяется сам "тип научности" (и которую поэтому лучше назвать "метапарадигмой"): не "научная парадигма", но "парадигма научности", определяющая самые общие "параметры" всех парадигм, возникающих под эгидой данного типа научного знания!

Совершенно очевидно, что во всех аналогичных случаях - еще чаще и основательнее, чем в случаях перехода от одной внутринаучной социологической парадигмы к другой - историкам теоретической социологии придется (и фактически уже приходилось - все равно: сознательно или не вполне сознательно) прибегать к помощи истории социальной мысли в широком смысле. (То есть имеющей своим предметом всю совокупность факторов, определявших эволюцию знания об обществе, включая и нравственно-религиозные, политико-правовые, специфически национальные и индивидуально-психологические.) Без обращения к ней не обойтись, если мы хотим приблизиться к пониманию "механики переключения гештальта" в смутное время "смены парадигм" и "метапарадигм". Но если это так, то чем же в таком случае история полезна тогда истории социальной мысли? А тем, что она не дает ей растечься "мыслью по древу", вновь и вновь напоминая о том научном ядре, вокруг

которого так или иначе кружит социальная мысль в каждую историческую эпоху.

**В.И. Шамшурин** (д-р социологических наук, журнал "Социс"): Почему существует опасение "растворить" социологию, например, в истории социальной мысли, в религии или в чем-то другом, когда логика социальной ситуации требует от социологии учитывать данные социальной мысли, религии или чего-то еще? Здесь нормальный междисциплинарный процесс, который следует только приветствовать. Ведь ни один физик не отстаивает "чистоту рядов" и не выдвигает претензий к биологам, химикам, астрономам, если они используют физику в собственных целях. Его это только радует. То же самое и с философией: никто не говорит о "размывании" философии, перелистывая работы, посвященные философии культуры, философии языка, философии религии, философии истории или философии естествознания (хотя в последнем случае может быть и стоило бы...). Я что-то не слышал, что у философов в этой связи возникает идиосинкразия на экспансию лингвистов, богословов, культурологов, историков, юристов или тех же социологов. Повторяю, опасения такого рода - мнимые, так как всякое междисциплинарное сотрудничество - это благо, а сохранение институционально-содержательного ядра теории не может быть поколеблено ситуативно-прикладным применением этого ядра в научной или любой другой практике. Точно так же, как арифметическая истина типа:  $2 \times 2 = 4$  не может быть искажена ее использованием при расчете строительства дачного домика. Напротив, обрекая себя на положение узника "чистой науки-социологии", хотя бы и сидящего в башне из слоновой кости, социолог попадает в ситуацию самоизоляции, духовного провинциализма и, как следствие, - дилетантизма, отказываясь от подпитки со стороны других наук в деле изучения такого сложного фено-ноумена как человек. Хотя и с точки зрения его социальных отношений. А ведь как показывают и история и современность, особенно на примере экономики и политики, автаркия, сектантство до добра не доводят...

Вот этот момент следует, на мой взгляд, четко вычленив при рассмотрении соотношения теоретической социологии и истории социальной мысли. Есть тут и ряд других соображений, которые я уже высказывал по схожему поводу в статье: «Гуманитарная социология: новые ориентиры и старые проблемы» // Социол. исслед. 1992. № 2. Здесь уже много и интересно говорили о роли духовных начал в общественной жизни, роли творческого знания и поверхностных мнений (эпистемы и доксы, как было принято говорить у древних греков), о пределах и возможностях социологии и социальной мысли, роли Слова и недостаточности одних количественных показателей, значении плодотворных познавательных традиций и т.д. Но вот что следует добавить. В любой науке, а социология в этом отношении не составляет исключения, существует три наиболее общих уровня. Натуральный, который констатирует наличие определенной эмпирической выборки. Трансцендентальный, который признает, что за этой выборкой стоят определенные духовные ценности, обобщения, законы, не задумываясь, однако, о природе и происхождении, онтологической сути, если хотите, этих ценностей, обобщений, законов и т.д. И трансцендентный. Последний как раз и ставит во главу угла подобный метафизический вопрос, и я рад, что участники обсуждения четко показали значимость метафизической проблематики для всякой науки, в том числе и социологии, претендующей на фундаментальные, а не только прикладные исследования. Именно на этом уровне исследователь задумывается о том, что же в его науке совершенно напрасно принимается за доказанное, хотя нуждается в дальнейшем обосновании. Именно на этом уровне происходит заслон алармизму и катастрофизму - этим дилетантским издержкам и обольщениям, проистекающим от скоропалительных выводов и мнимой очевидности. Истинное же знание лежит не на поверхности. Оно запрятано глубоко. Для его достижения потребны и время, и усилия. В истории человечества, как известно, очень многим людям на голову падали различные предметы. В этом усматривали величайшую несправедливость Провидения. И только Ньютон смог увидеть здесь величайшее благо, открыв закон тяготения. Именно на метафизическом уровне "страус вынимает голову из песка", и вдруг получается, что, опасность оказывается мнимой и бояться нечего. В этой связи можно сказать, что с точки зрения жанровой специализации история социальной мысли и прикладная социология более всего примыкают к первым двум уровням. Тогда как теоретическая социология принимает в расчет в своих исследованиях еще и третий, задумываясь, подобно дальновидному менеджеру преуспевающей фирмы, о поставленных целях и рентабельности - соответствии сопутствующих им затрат и средств достижения. Другими словами, говоря о прикладной

социологии, истории социальной мысли и теоретической социологии, мы не можем говорить об одном для всех или о разных критериях научности, об их взаимном противопоставлении или взаимном сосуществовании. Следует говорить о дополнительности и соответствии конкретно поставленным и строго ситуативным исследовательским задачам. В таком понимании никаких опасностей "растворений", "искажений" специфики тех или иных дисциплин, смешения социологии с другими науками и превращения ее в "несоциологию", обыденное знание не существует. Как раз наоборот, социология станет обыденным знанием, общественным мнением и только, если не сможет посмотреть на себя со стороны, метафизически.

**Ж.Т. Тощенко:** По ходу нашей дискуссии мне хотелось бы вступить в полемику с Ю.Н. Давыдовым и В.И. Шамшуриным. Что касается позиции Ю.Н. Давыдова, то мне кажется, что он изобрел беспроектный, но малопродуктивный аспект анализа - о "научности" классической социологии XIX века. Оспаривая выводы неназванных исследователей, Юрий Николаевич пафос сосредоточил на доказательстве того, что не было "подлинно научной" социологии ни в XIX, ни в XX веке, и что глубоко не правы те, кто приписывает некую исключительность в постижении истины представителям классической социологии. Такой постановке вопроса трудно возражать - она справедлива. Ведь процесс познания - постоянное обогащение знания, его обновление, выявление новых возможностей углубления и иной интерпретации. Это, кстати, является прерогативой не только социологии - оно присуще любой науке. Несправедливо и неверно считать, что наши предшественники уступали нам в "научном видении мира". Иначе мы придем к выводу, что исследователи социальной жизни жившие до нас, были сплошными "двоечниками", которые только и делали, что "ошибались", "заблуждались" и вообще не могли познать "то, что надо". Но одновременно неверно не видеть, что в процессе постоянного обогащения знания могут происходить изменения качества знания, которые позволяют по-иному видеть окружающую социальную реальность.

Поэтому, на наш взгляд, внимание должно быть сосредоточено на другом - как и когда размежевались между собой социальное и социологическое знание, когда наступила грань, позволившая говорить о социологии как суверенной науке. Какие причины привели к ее институализации?

Соглашусь с выводом, что история социальной мысли включает в себя все многообразие и богатство знаний об обществе. Однако ответить на вопрос - почему мы говорим о качественной определенности социологии как науки, я не берусь. Причем признаю, что в рамках теоретической социологии это сделать очень трудно, ибо ее отличие от социальной философии весьма размыто, условно. Что же касается социологического знания (даже не затрагивая многочисленных споров о предмете социологии), то оно, повторяю, могло появиться в условиях изменившихся обстоятельств - человек стал самоценностью исторического процесса лишь в период буржуазных революций и именно это было основанием для возникновения новой социальной науки. К тому же она стала прибегать к методам познания, не применяемым другими социальными науками, но широко используемыми в "точных". Конечно, социологическое знание в момент своего конституирования было во многом несовершенно, неполно, отрывочно, что затем в определенной степени, постепенно восполнялось (и до сих пор восполняется) трудом последователей и представителей данной отрасли знания. Поэтому я не стал бы уделять внимание тому, насколько была научна социология в XIX и XX веках - на мой взгляд, более продуктивен поиск становления, обогащения и кристаллизации социологического знания на последующих этапах его развития.

Что касается мнения В.И. Шамшурина, то мое возражение касается другого аспекта. Я безусловно согласен, что социология должна учитывать все богатство и многообразие других социальных наук - философии, истории, политологии, культурологии и именно на базе и с учетом их данных строить свои выводы, что, как справедливо отмечает В.И. Шамшурин, делается и в других науках. Но возникает иной вопрос - до какой степени должна происходить эта интеграция, чтобы не потерять содержание своей науки? Я иногда в занятиях с аспирантами и студентами провожу следующее практическое занятие: раздаю тексты, посвященные проблемам развития общества, и прошу определить, представителями какой науки сделан данный анализ. И как ни может показаться странным, хуже всех определяют тексты социологов, особенно если в них нет эмпирических данных. Эти тексты

часто похожи на рассуждения социального экономиста, историка, философа, что само по себе с точки зрения истории социальной мысли не является предвсудительным. Но возникает тогда другой вопрос: а зачем тогда социология, если в анализе и изложении материала нет той качественной определенности, которая позволила бы идентифицировать их именно с социологическим знанием. Поэтому говоря о взаимосвязи социологии с другими направлениями социальной мысли, не следует эту взаимосвязь доводить до такой степени, когда возникает вопрос: а зачем нужна такая наука, если исследуемые ею существенные характеристики общества достаточно хорошо и квалифицированно объясняются и интерпретируются другими социальными науками? Или социологии нечего сказать, что делало бы ее непохожей, особой, специфической отраслью социального знания? А ведь это не сделаешь методом учета и сбора того, что сделано другими социальными науками!

Ю.Н. Давыдов: Сегодня мы, по всей видимости, присутствуем при последних минутах невероятно долгого прощания (растянувшегося более чем на сотню лет) с тщеславной просветительской иллюзией, согласно которой те люди, что жили до нас, непременно должны были быть глупее нас и уж, во всяком случае, должны были уступать нам в смысле "научности" их представлений об обществе, в котором они жили (хотя жили-то в нем они, а не мы, получающие сведения об их жизни из вторых, а, может и "третьих", и "четвертых" рук). Если бы это действительно было так, то мы не повторяли бы в наш невероятно просвещенный век все то, что наши "недопросвещенные" (или вовсе далекие не только от "современной научности", но и, якобы, от всякой "научности" вообще) предшественники в области социального знания квалифицировали как непозволительную глупость. А ведь наука поэтому и называется наукой, что она прежде всего предполагает научение - освоение опыта теоретических предшественников, призванное предупредить нас от их ошибок, побудив использовать из этого опыта то, что было удостоверено (в соответствии с их критериями научности) в качестве заслуживающего дальнейшего осмысления и практического учета. Это - первейшее условие всякой научности, с нарушения которого и началась социология прошлого века, воздвигнувшая почти непреодолимый идеологический барьер между ее собственным типом научности и всеми остальными. Дискриминированными ею в качестве "ненаучных".

Так воздержимся же от повторения этой роковой ошибки самоупоенного социологизирующего просветительства. Попытаемся понять историю социологии как не лишенное собственных внутренних коллизий и противоречий, но - все-таки - единство. Единство многообразия типов социально-научного знания, эволюция которых хотя и не прочерчивает одну-единственную "линию Прогресса", однако и не исключает в принципе возможности усвоения последующими поколениями ученых опыта (в том числе и печального) предыдущих поколений. Разумеется, если будет на то добрая воля членов "научного сообщества". А в ходе такого освоения чужого, но уже не чуждого, возникает и вполне оптимистическая перспектива установления благожелательных отношений между историей социологии, окончательно отказывающейся от рудиментов своей просветительской гордыни, и историей социальной мысли, осознающей и особую специфику, и высокую эвристическую ценность своих подходов, полезных и благотворных не только для нее самой, как и для исторической науки вообще, но и для истории социологической теории, постоянно рискующей слишком высоко "воспарить" над жизненной практикой.

*Материал подготовил В.И. ШАМШУРИН*